

Андрей Лушников



Родился в 1964 году в Рубцовске Алтайского края. Окончил факультет журналистики Алтайского государственного университета. Работал на Алтае журналистом, литературным редактором. Печатался в журналах «Алтай», «Сибирские огни», «Север», «Родная Кубань», «Вологодский ЛАД». Автор пяти сборников стихов и прозы, исторического романа «Опрокинутый жертвенник». Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

ПРИЕЗЖИЙ

Найти себя истинного — суть себя и припомнить. Разыскать и уюкошить в пережитом. Иногда меня так угнетают воспоминания, что я начинаю жить только настоящим, без этих жутких провалов *во время*. Я понимаю, чем это чревато, но не могу не обольщаться и не желать еще мучительней упиться этим наркотическим коктейлем Настоящего, который хоть на миг отвратил бы от меня неумолимый лик Прошлого. В такие минуты мне представляется детское лицо романистки Айрис Мердок как образ идеального наперсника Сиюминутия. С недугом Альцгеймера на склоне лет она поражала мужчин невозмутимостью дамы без прошлого и с загадочным настоящим. Навсегда разделавшись с литературой, она лежала на старинной кровати и смотрела мультфильмы. Чем не занятие для подлинного созерцателя Настоящего? Если не брать в учет побочные проявления болезни Альцгеймера — впадание в ребячливость

и выпадание из социума, — то лучшего лекарства от ужасных картин прошлого вряд ли можно найти.

В часы жесточайшего пароксизма воспоминания, прихватив бутылку красного вина, я сажусь за стол и начинаю по памяти составлять список вещей, которые я должен забыть:

1. День моего Бегства и день моего Преступления.
2. День, когда от нас ушел отец и день, когда умерла мама.
3. День, когда я поддался романтической моде и сказал вслух: «Люблю».
4. День развода с первой женой и день встречи со второй.

Таких вещей набирается на год. Я пакую этот багаж, заказываю такси и тащу раздутый чемодан к лифту. Поезд до моей прародины отходит в 17.15. Именно там я намерен выбросить это барахло на городской свалке и уехать назад налегке, просветленным, не оглянувшись на молящий шепот отца: «Прости».

Чтобы не видеть, как уменьшаюсь я в его перспективе.

И чтобы затем снова вернуться и вырасти в этом маленьком степном городке на самой окраине Ойкумены.

Туда и сейчас грохочут составы моих сновидений. Там — тракторный завод, где работает практически все население города. Пивная-шайба у проходной, где мужики в день получки пропиваются до нитки, и твердой валютой за две кружки пива ходят сделанные на заводе быстрые финки с наборными рукоятями, которые порой тут же и пускаются в дело.

В городе детства я шатаюсь по холодным ночным улицам и шепчу в шарф: «Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди ж на зубок: шапку в рукав, шапкой в рукав — и да хранит тебя Бог». Я так же, как и Мандельштам, не допущен на этот бал-маскарад жизни, потому что пришел на него без маски, засунут шапкой в рукав своей памяти. Торчу мокрым от снега братцем-кроликом с изнанки Прошлого посреди темной улицы неясного Настоящего. И совершенно обессиленный блужданиями по лабиринтам лет, вспоминаю помимо воли и желания, как в десятилетнем возрасте в метель пришел домой из школы без шапки. В старой местечковой школе в тесной раздевалке днем мы вешали свои куцые пальто, забивали в рукава шарфы и шапки и, одеваясь вечером, выдергивали их, словно фокусники. Декабрьским вечером,

веселый, радуясь окончанию уроков, ныряя в рукава пальто, я, к ужасу, не обнаружил в одном из них своей потертой кроличьей шапки.

Шапка нашлась назавтра в школе за батареей отопления. Так надо мной пошутили одноклассники. Но вечером того злополучного дня отец, стоя над моей заснеженной метельной головой с тяжелой чугунной сковородой, метал в меня молнии и не шутил. Ах, папá мой, папá Кафкин. Теперь и у меня заснежена голова.

Здесь, на краю географии, уже никого нет. А те, кто остались, меня не помнят. И я хочу забыть их так же, как и они меня. Мы прячемся друг от друга в беспамятство и думаем, что этим спасемся. Но спасутся только мертвецы, ибо, чтобы продлилась жизнь, семя должно умереть. И мы это понимаем, как дубовые. Желуди и прочее. У кого есть дети — тем никогда не забыть себя, так как маленькие их подобия всегда будут стоять пред глазами и шуметь своей листвой. А у кого их нет — у тех есть зеркала и укоризна взгляда незнакомого человека, смотрящего откуда-то из их головокружительной глубины.

Погоня за беспамятством привела меня однажды в психо-нар-кологический центр. Юные наркоманы ходили понуро по клинике, как привидения Кентервиля, оставляя за собой лужи печали. Они обрадовались новичку и, как маленькие старички, кряхтя от ломки и охая, пришаркали гурьбой в мою палату. Сели на кровать напротив, и их руки поползли проколотыми коричневыми змеями по одеялу. Как малые дети, они без зазрения совести стали выведывать, нет ли у меня для них сгущенки или конфет. Так их неокрепшие от наркоты юные организмы требовали глюкозы. Не увидев на моих руках стигматов и узнав, что я здесь по другой части, старички скоропостижно во мне разочаровались и обиженно ушуршали. Алкоголизм — это же как насморк. (А между прочим, древние греки считали насморк проявлением мозговой активности). В клинике за мою память так и не взялись. Такая опухоль, говорят, неоперабельна.

День моего Бегства, кажется, совпал с днем Преступления. Или это был один день? Или все уже сливается, обезличивается настолько, что я скоро не узнаю даже детского лица Айрис Мердок? Не узнаю старину (alts) Геймера? Впрочем, сейчас

это уже неважно, который день был первый. Хотя я точно помню, что первый день — день творения Неба, и помню, кто в тот день был геймером. Создатель даже самой древней версии бытия следует непреложной логике детектива.

И раньше бы мне окончить его, если бы не Она. Бедами похожая на веретено мойры. Она будто властвовала над временем. Парила как-то над вещами, наматывая невидимую нить моей жизни. У Нее был неожиданно высокий голос и низкие бурятские скулы. И глаза! Такие, какие бывают только в кино, когда их берут со среднего в крупный план и еще — какая-то мистическая подсветка. Хотя и без подсветки, и даже с общего плана было заметно, какой свет изливали на меня Ее глаза. Весь «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан»! Это было так, словно в мое черно-белое кино нарочно или по ошибке вмонтировали кусок цветной картины.

Я с Ней познакомился на презентации книги некоего поэта, куда меня затащил знакомый журналист, пообещав пару дармовых стаканчиков вина. Он же знал, что я не пью.

И вот, стоя с пластиковым стаканом в углу шумной залы, я случайно увидел грустную девушку, так же, как и я, понявшую, что пришла сюда непонятно зачем. Мы обменялись взглядами, мнениями и номерами телефонов.

Вот тогда, в этих светских гомонящих сумерках и замаячил на горизонте призрак моего Преступления. Мог ли я его предотвратить? Нет, не мог, иначе бы я об этом сейчас так не изливался. Да, безусловно, мог, иначе бы я не молил Время о беспамятстве. Не строят дом души на болотных гатях, не лепят крылья из критского воска. От моего застарелого Преступления осталась теперь одна, все прожигающая вина. «Я не могу жить на одной вине», — сказал я Ей, уходя.

За первым поцелуем должен следовать первый ребенок. Но если одно из другого не следует, то что-то в этой механике неладно. Стоит ли тогда всю жизнь осмысливать влюбленность, чтобы в конце признаться себе, что никогда никого не любил? Возможно ли наделять смыслом то, что сам не испытывал ни разу?

Самоидентификация — занятие не для слабонервных.

Я сказал достаточно.

В розоватом мареве день еще только зарождался где-то за березовой рощей. У крайних берез, квадратный, как кусок рафинада, торчал из высокой травы патрульный уазик. Двое полицейских стояли между ровными рядами кладбищенских оградок.

Один из них поднял взгляд от маленькой растрепанной книжицы, захлопнул ее и посмотрел на старшего напарника, который курил рядом в нерешительной задумчивости.

— Да, история, — сказал старший. — Кто это? Уже установили?

— Да. Паспорт лежал во внутреннем кармане. Приезжий.

— Еще что-то?

— Блокнот вот этот, с записями.

— И что это он так улегся тут сверху? Скрючился весь, как... как зародыш. Маньяк, наверное?

— Не думаю. Это могила его матери.